



В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ, ПРОТ.

Русские мыслители и Европа

<Фрагмент>

<...>

**Глава II.
Н. В. ГОГОЛЬ**

Проблема Запада и западной культуры хотя и не стояла в центре внимания Гоголя, однако всю жизнь занимала его. Связанный в своих исходных взглядах с немецкой романтикой, с группой «Московского вестника» и в частности с кн. В. Ф. Одоевским, Гоголь очень рано становится самостоятельным в своих религиозных исканиях, определивших затем всю его духовную работу, — даже почти одиноким. Художник, мыслитель, религиозно ищущий человек — жили в нем очень интенсивной жизнью, но Гоголю не было дано найти адекватную форму для выражения его внутренней работы, и недаром последние десять лет его жизни отмечены каким-то увяданием его творчества. Задача, перед которой он стоял, была так грандиозна, что превышала его силы... В вопросе о России и Западе Гоголь начал высказываться очень рано, а в повести «Рим», хотя и напечатанной в 1841 году, но внутренне выросшей из его переживаний в 30-х годах (см. об этом «Материалы» Шенрока¹), и затем в «Выбранных местах», он договорил до конца своей мысли и чувства.

Духовное развитие Гоголя не нашло до сих пор своего полного освещения — в нем до сих пор остаются загадки, диссонансы и неясности. После работы Венгерова о Гоголе² можно считать окончательно преодоленным тот взгляд, согласно которому считали Гоголя малообразованным, мало осведомленным в современной ему европейской культуре. Венгеров доказал, что уровень

образованности у Гоголя был не ниже обычного для его времени. Эта реабилитация Гоголя тем важнее, что глубокая самостоятельность и подлинная оригинальность его вовсе не покоились на неведении современной философии и литературы. В теоретических этюдах (а Гоголь всю свою жизнь рядом с художественными произведениями писал те или иные теоретические статьи — мыслитель в нем не поглощался художником) можно было бы найти, при более детальном исследовании, точки соприкосновения с важнейшими течениями духовной жизни Европы, влиявшими на русскую мысль. Правда, сплошь и рядом Гоголь знакомился с ними из вторых рук, из современной журнальной литературы, но тем поразительнее его духовная отзывчивость на эти центральные идеи его времени, тем ярче выступает самостоятельность и продуктивность его собственной мысли. Гоголь как мыслитель еще больше закрыт от нас его художественным творчеством, чем это можно сказать о Ф. М. Достоевском, а между тем, как показывает вся дальнейшая история русской религиозно-философской мысли, Гоголь вплотную подошел к самым основным ее темам — недаром внутренне к Гоголю примыкают здесь почти все позднейшие русские религиозные мыслители: я имею в виду тему об «оцерковлении жизни», впервые с исключительной силой поставленную именно Гоголем³. Бесспорно, что Гоголь не сумел придать своим размышлениям форму, которая способствовала бы их влиянию; Толстой когда-то недаром высказал мысль, что необходимо было бы переиздать «Выбранные места из переписки с друзьями», выбросив те места, которые задевают, шокируют или просто действуют неприятно на читателя. В этом замечании Толстого верно то, что очень немногие умели до сих пор, отбросив все неудачные выражения в письмах Гоголя, выделить основные мысли, основное его умонастроение. У нас ныне, впрочем, пошло даже в моду высоко ценить Гоголя как «учителя жизни», но и эта поздняя слава, увенчивающая религиозные искания Гоголя, еще не означает того, что Гоголь понят в самом заветном своем: мирозерцание Гоголя (а оно у него слагалось или почти сложилось) не нашло донныне своего изложения и истолкования⁴.

Из сложной и духовно очень насыщенной внутренней работы Гоголя мы постараемся извлечь лишь очень небольшую часть ее — связанную с проблемой Запада. Не принадлежа ни к славянофилам, ни к западникам, подходя к проблемам культуры иначе, чем все его современники, Гоголь отдал дань внешней критике Запада, но и здесь он впервые (до Герцена) поднялся до широких обобщений; но еще важнее то, что Гоголь видел во внутреннем

мире Запада. В этой части своих размышлений и построений он очень близок к славянофилам, однако не идет так далеко, как они. Восприятие православия, столь могуче определявшее и у Гоголя и у славянофилов оценку внутреннего мира в западной культуре, все-таки было у них неодинаковое. В Гоголе с чрезвычайной силой звучали ноты глубокого трагизма, наметился мучительнейший антиномизм, с такой силой затем воскресший у Достоевского, у Розанова в новейшей богословской мысли, тогда как славянофилы остались чужды мотивам антиномизма. Некоторая склонность к стилизации, некоторая статичность в самом складе религиозной души у славянофилов с достаточной силой отделяют их от Гоголя с его тревогами, с его неумением и внутренней невозможностью прикрывать глубочайшие антиномии, встающие перед религиозно ищущим духом.

Гоголь рос под влиянием немецкой романтики и глубоко впитал в себя ее любовь к Средневековью, ее поклонение античности, ее высокую оценку искусства, наконец, ее универсализм. Поистине он мог вместе с Достоевским сказать, что у него было две родины — Россия и Западная Европа, только под Западом надо разуместь не современную ему Европу (как она, например, завладела мыслью и мечтой Герцена, Огарева и др.), а весь тот духовный мир, больше прошлый, чем современный, который нашел свое выражение в романтизме — притом преимущественно немецком. Не случайно то, что Гоголь, попав за границу, полюбил одну лишь Италию за ее насыщенность искусством, за ее отдаленность от внешней технической цивилизации других стран. К современной Европе у Гоголя, еще до поездки за границу, уже было некое отвращение, и хотя в этом повинны были романтические настроения, но и здесь с полной ясностью уже выступает действительная самостоятельность Гоголя. Гоголь часто близок к отдельным романтикам, во многом приближается к различным русским писателям и мыслителям, но все же в нем рано проявилась глубокая его оригинальность, выдвигающая его очень скоро в самые первые ряды.

Эстетическая установка в оценке современности сказалась у Гоголя уже в его юношеской поэме (написанной, когда Гоголю было 17 лет), где герой уходит от современности к античному миру — ибо современность не привлекает и не питает его. Конечно, здесь (как и во многом другом) мы имеем дело с чисто автобиографическим сюжетом: перед духовными очами Гоголя всегда рисовались далекие прошлые времена — не одна, впрочем, античность, но и Средневековье, и это живое и постоянное

чувство прошлого сообщало трезвость и ясность его восприятию настоящего. В одной из очень ранних статей (1833 года — Гоголю тогда было 24 года), посвященных архитектуре, находим очень характерные строки: «Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величием рисунка, или своевольной дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительной пестротой украшения. Невольно теснится мысль: неужели невозвратно прошел век архитектуры? Неужели величие и гениальность больше не посетят нас?» Все характерно в этом отрывке: и отрешенность от жизни, с которой точно нет реальной связи, которую только созерцает художественно Гоголь и ничего больше, — и эта потребность найти «величие и гениальность», и чувство грусти, рождающееся от приближения к современности... Говоря о моде «к аттической простоте», распространившейся в начале XIX века, Гоголь пишет: «Все, что ни строили по образцу древних, все стало носить отпечаток мелкости и миниатюрности: узнали искусство связывать и гармонировать между собой части, но не узнали искусства давать величие всему целому». Всюду господствует принцип «соразмерности», приведший к «монотонной правильности», к утере вкуса к своеобразию и оригинальности, к торжеству «расчетливости» и утере истинной величественности... «Отчего, — спрашивает Гоголь, — мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тонких появлениях, — отчего мы не производим ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего времени?» Творчество уходит все в мелочи, в пустяки: «гибнет вкус человека в ничтожном, временном, тогда как он был бы замечен в неподвижном и вечном». Контраст с античностью, со Средневековьем возвращает мысль Гоголя к самым предусловиям творчества, и он в связи с этим указывает на то, что в Средние века была целостная жизнь: «пламенная, жаркая вера устремляла все мысли, все умы, все действия к одному». Но «как только энтузиазм Средних веков угас, и мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только единство и целостность одного исчезли, — вместе с тем исчезло и величие». «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным, — читаем мы в этой же статье, — век наш так мелок, желания так разбросанны, знания наши так энциклопедичны, что мы никак не можем сосредоточить на каком-нибудь предмете наших помыслов, и оттого поневоле раздроблены все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки».

Как характерно все это для Гоголя! В его страстной и даже пристрастной романтической критике современности на первом месте стоят судьбы искусства — здесь заключена для Гоголя та сторона жизни, по которой он разгадывает ее сокровенную тайну; чисто эстетический подход к современности останавливает его на общей ее оценке, — ему словно не интересны, не нужны другие стороны жизни, и самые успехи современности для него неприятны перед лицом упадка искусства. Заметим тут же, что здесь нет и намека еще на отделение Запада и России — Гоголь хотя обращается к Западу, но в сущности говорит о современности вообще. За два года до статьи об архитектуре Гоголь написал небольшой этюд «Скульптура, живопись и музыка», в котором находим те же мотивы. Приведем их, так как эти строки чрезвычайно типичны: «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей — и бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас, буди чаще наши меркантильные души, ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя бы на мгновение, этот холодный ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром».

Характерно кончается этот этюд: «В наш юный и дряхлый век послал Великий Зиждитель мира могущественную музыку — стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка нас оставит, что будет с нашим миром?» В этом вопросе как бы сосредоточилось все неверие Гоголя в современность, все глубочайшее его отталкивание от нее — и вместе с тем трагическое ее восприятие...

В 1836 году, после тяжких разочарований и ударов, глубоко взволновавших Гоголя (в связи с постановкой «Ревизора»), Гоголь едет за границу «развеять свою тоску». Его письма из-за границы очень любопытны, часто придиричивы, пристрастны, но уже здесь закладываются первые живые впечатления от Запада, которые, по существу, отвечают его недавней чисто эстетической критике современности. Когда Гоголь попал в Италию, он словно попал на «родину»: его восторженные описания Италии, ее природы, ее городов, остатков старины долгое время заполняют его письма.

Культ Италии продолжался у Гоголя очень долго, но уже в первых же письмах чувствуется, что в свете итальянских впечатлений Западная Европа стала рисоваться для Гоголя все тяжелее и мрачнее. «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить», — читаем в одном из ранних писем. «Ни за что не решился бы я остаться на житье в средней Европе», — читаем несколько позже. Еще позже читаем восторженные строки об итальянском народе, о его «пылкой природе, на которую холодный, расчетливый материальный европейский ум не набросил своей узды. Как показались мне гадки немцы после итальянцев, немцы со своей мелкой честностью и эгоизмом»⁵. «Мысль, которую я носил в уме о чудной фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле». Еще позже (в письме из Вены в 1840 г.) читаем такие резкие и грубые строки: «На немцев я гляжу, как на необходимых насекомых во всякой русской избе».

В 1839–1841 годах Гоголем был написан отрывок «Рим», в котором, как показал исследователь Гоголя В. И. Шенрок, мы имеем очень много личных переживаний Гоголя. В «Риме» рисуется молодой итальянский князь, попавший в Париж, — и в картине Франции мы встречаемся с тем, как самому Гоголю рисовалась Франция. В одном письме по поводу Рима (письма Шевыреву, январь–октябрь 1843 г.) Гоголь хотя и говорит, что он не «одного мнения со своим героем», но он сам определяет смысл своих описаний французской культуры так: «Дело здесь в том, какого рода впечатление производит строящийся вихрь нового общества на того, для кого уже почти не существует общества нового времени» (так именно хотел нарисовать Гоголь своего героя, но таким он был и сам в гораздо большей степени, чем его герой).

Молодой итальянский князь давно порывался побывать в «настоящей Европе»: ее «вечное движение и блеск заманчиво мелькали вдаль» и привлекали его к себе. Первые впечатления от Франции были ошеломляющи, захватив итальянца целиком: особенно сильно подействовал на него Париж, описание которого в «Риме» доныне сохраняет свою ценность. Молодой итальянец погрузился совершенно в парижскую жизнь, подхваченный ее быстрым потоком, зачарованный обилием и постоянной сменой впечатлений... «Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что ты член великого всемирного общества!» — в таких словах изображает Гоголь чувства нашего князя. Но прошло четыре года — и начались разочарования. Князь начал замечать, что «вся многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных

душевных осадков»: в вечном движении и напряжении парижской жизни ему стала открываться «страшная недеятельность, страшное царство слов вместо дел». «Везде, во всем он видел только напряженное усилие и стремление к новости. Везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения; он нашел какую-то страшную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уважении». Гоголь заставляет нашего итальянца дойти до конца в его критике французской жизни, и вот каковы итоги его разочарований: «Увидел он наконец, что при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полунабросано, с быстрой руки: вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера». Эти суровые строки углубляются в дальнейшем общей критикой европейской цивилизации — Франция, видимо, взята как наиболее яркая ее представительница. Уже вернувшись в Италию, глубже почувствовав ее величие, красоту, князь пережил очень сильно чуждость для него европейской цивилизации. В сравнении с «величественной, прекрасной роскошью» Италии — «какой низкой показалась ему роскошь XIX века — мелкая, ничтожная роскошь». Перед лицом «незыблемой плодотворной роскоши Италии, окружившей человека предметами, движущими и воспитывающими душу, — как низки показались ему нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойной модой, странным, непостижимым порождением XIX века, — губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято! При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств? Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем». Уже в «Риме» звучит у Гоголя мотив, развитие которого мы увидим позже: Париж стал для князя «тягостной пустыней»: ощущение «пустыни», пока вложенное в душу князя, станет потом для самого Гоголя одним из решающих в его восприятии всей европейской современности. Для тех же годов, когда писался «Рим», характерно не одно разочарование в Европе, но и вера в Италию и итальянский народ. Князь «чуял высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое, вечное владычество над всем «миром»»; он верил

в народ, в котором чувствовал «стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще вдали⁶. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования». Ощущение «холода» в европейской жизни — очень раннее у Гоголя, — оно осталось у него до конца.

Сущность эстетической критики у Гоголя, как она вырисовывается перед нами, может быть выражена так: для Гоголя внутреннее опустошение Европы связано со все растущей в ней пошлостью. Это слово прямо нигде не сказано в отношении к Европе, но торжество пошлости в современности Гоголь ощущал еще тогда, когда писал свои первые статьи, анализированные выше, когда горько говорил, что «мы имеем чудный дар делать все ничтожным». Упрек Герцена в духовном мещанстве будет звучать сильнее и шире — Герцен имеет в виду весь духовный облик европейской современности. А для Гоголя, в первой стадии его критики Европы, особенно мучительно и невыносимо эстетическое падение Европы, торжество в ней всего мелочного и ничтожного. Но то, что вкладывалось в упрёки о холоде, «сжимающем современную душу», что прорвалось в замечании, что в Париже была «тягостная пустыня», — это было уже началом иных переживаний — религиозного порядка, как это с полной ясностью раскроется из дальнейшего. Именно потому непосредственные впечатления Гоголя и драгоценны своей подлинностью и ненадуманностью.

В сборнике статей, вышедшем в 1847 году под заглавием «Выбранные места из переписки с друзьями», мы находим первый набросок нового мировоззрения Гоголя, которое начало у него формироваться еще в конце 30-х годов и в полной своей силе развернулось уже после выхода первого тома «Мертвых душ». Этот первый набросок нового мировоззрения оказался чрезвычайно неудачным по своей форме, по незаконченности идей и формулировок и массе лишнего, по существу ненужного, а часто и двусмысленного материала, дающего повод для сурового отвержения всего содержания книги. Но если только статья выше этих всех неудачных и лишних мест, если перестать «обличать» Гоголя (чем, увы, занимаются историки до сих пор) и стараться понять мысли Гоголя, то с полной силой и изумительной глубиной встают перед нами новые его настроения. Гоголь — первый у нас пророк возврата к целостной религиозной культуре, пророк православной культуры. Здесь лежит его основная мысль, в это развернулась и углубилась его критика современности. Здесь, конечно, не место показывать, как постепенно слагалась у Гоголя эта идея

православной культуры, как освобождалась она от случайных и лишних ассоциаций, затемнявших и для самого Гоголя, а тем более для его читателей основную идею. Мы только сосредоточим наше внимание на новой — уже религиозной критике современности у Гоголя, зачатки чего были отмечены выше.

Отметим прежде всего перемену взгляда Гоголя на искусство. Он любил его по-прежнему, но в его внутреннем мире художника, давно болевшего вопросом о влиянии искусства на «хладеющую жизнь», окончательно теперь определился путь искусства. «Нельзя ныне служить самому искусству — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его высшей цели и не определив, зачем дано нам искусство: нельзя повторять Пушкина». Нужно помнить то исключительное благоговение, какое питал Гоголь к Пушкину, чтобы почувствовать всю значительность этих слов. Для Гоголя искусство ныне является «незримыми ступенями к христианству» — и эта религиозная функция искусства, это религиозное его служение не понижают для него ценности искусства. Именно здесь лежали глубочайшие упования, если угодно, утопические надежды Гоголя, и если он не говорил словами Достоевского «красота спасет мир», то он все же глядел именно в эту перспективу⁷. Вера в преображающую силу эстетических переживаний была у Гоголя и раньше (ярче всего в образе Андрия в «Тарасе Бульбе»), но ныне искусство освещено для него религиозным светом. Его требования к современности становятся увереннее, чувство художественной ответственности становится серьезнее. Ключ к решению задач современности берет искусство у христианства — и это ощущение преображающей силы церкви (здесь Гоголь предвосхищает идеи Достоевского об «оцерковлении жизни») и составляет положительную основу всего нового мировоззрения Гоголя, его пафос и его силу. «Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь» — вот *Leitmotiv* всей книги Гоголя: он ощущает, как основную неправду современности, ее отход от Церкви, и основной путь он видит в возвращении к Церкви и перестройке всей жизни в ее духе. О том, что именно Православная Церковь сохранила в себе полноту и чистоту христианства, — об этом убеждении Гоголя скажем ниже, сейчас же подчеркнем лишь его призыв к раскрытию силы Церкви. «Говорят, что Церковь наша (т. е. православная) безжизненна, — но говорят ложь, потому что церковь наша есть жизнь; но ложь свою вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом». Вот еще существенные места: «Церковь

наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны возвестить ее правду... Для нас возможна одна лишь пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей должны мы защищать Церковь нашу, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину». Идеал церковной культуры, выраставший из самых глубин религиозной души Гоголя, для него новым светом освещал современность. «Церковь одна в силах, — пишет он, — разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши; есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим — наша Церковь... в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для просыпающегося ныне общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей — и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах теперь примирить Церковь западная. Теперь, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах... Западная Церковь только отталкивает его от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор... В восточной же Церкви — полный простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах».

Что же видит религиозно углубленный взор Гоголя на Западе, как ныне воспринимает и оценивает он его культуру? «Все европейские государства, — читаем у Гоголя, — болеют теперь необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений»: этот рост правовой регламентации жизни, по мысли Гоголя, произошел вследствие того, что всюду (в жизненных отношениях) образовались «пустые места». «Всем становится подозрительным, — читаем в другом месте, — то совершенство, в которое нас возвела наша новейшая гражданственность и цивилизация... ныне, по воле Провидения, стал повсюду слышаться голос неудовлетворения... Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь. Европе пришлось еще труднее, чем России, — разница лишь в том, что там никто еще этого не видит. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики — и именно в тех, с виду благоустроенных государствах, наружным блеском которых мы так восхищаемся, что закружится голова у самых знаменитых государственных мужей. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство... Как возвратить все на свое место (т. е. вернуться к церковной культуре)? В Европе сделать это невозможно: она оболется

кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет». В замечательной (заключительной) статье «Светлое Воскресение» Гоголь пишет: «Как бы этот день (Пасха) пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека, когда многие только и грезят о том, как преобразить все человечество... когда стали поговаривать даже, чтобы все было общее — и дома и земли! Но есть страшное препятствие (воспраздновать нынешнему веку светлый праздник), — имя ему — гордость. Обрадовавшись тому, что стало во много лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою». Но особенно сильна ныне гордость ума. «Ум для современного человека — святыня: во всем усумнится он — в сердце, в Боге усумнится — но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь права, не из-за личной ненависти — нет, не чувственные страсти, а страсти ума уже начались...⁸ Поразительно: в то время, когда уже начали было думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогою ума... Что значит эта власть моды — ничтожной, не значащей, но... которая изгоняет все, что есть лучшего в человеке? Что значат все незаконные эти законы, которые в виду у всех чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством?.. И ни одного дня не хочет провести (в духе святого праздника) человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет — и возрастает только в виду всех один исполнский образ скуки... Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!»

Религиозное ощущение кризиса культуры ни в ком, быть может, не достигало такой силы, какая запечатлена Гоголем в последних словах; трагедию христианского мира он переживал с исключительной напряженностью и всю ложь, всю религиозную болезнь века ощущал с неповторимой остротой. Уже не пошлость, не измелъчание современности мучают его, а религиозное ощущение нависшей над миром трагедии сжигает его душу. «Мир уже не в силах прямо встретиться с Христом», — пишет он в одном месте, и в этом его болезнь, его ужас.

Гоголю были чужды развернувшиеся уже в эти годы разногласия между западниками и славянофилами; он разделял с послед-

ними веру в Россию, в ее историческую миссию, но трагедия христианского Запада была и его трагедией. Однако Запад был дорог ему совсем не тем, что любили в нем западники, — он глядел на Запад религиозными глазами, и смешны были Гоголю все указания на так называемые «успехи цивилизации». Внимательный читатель не раз отмечал, вероятно, в приведенных выше цитатах борьбу Гоголя с верой в так называемое «Просвещение»: его замечание, что «человечество влюбилось в свою чистоту и красоту», как раз и относится к той «вере в человечество», которая образует самую суть «духа Просвещения». Любопытно одно место в письме Гоголя к Белинскому (в ответ на его известное письмо): «Вы говорите, что спасение России в европейской цивилизации, но какое это беспредельное и безграничное слово! Хоть бы вы определили, что нужно подразумевать под именем европейской цивилизации? Тут и фаланстьеры, и красные, и всякие — и все друг друга готовы съесть и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает поневоле: где наша цивилизация?»

Внешний блеск и внешние «завоевания» цивилизации совершенно не интересуют Гоголя и не могут закрыть для него основной ее болезни. Уже не эстетическая оценка определяет его отношение: «нельзя повторять Пушкина», нельзя только эстетически воспринимать и расценивать действительность, должно отдать себе строгий отчет, куда движется жизнь. Эта религиозная точка зрения и определила то, как воспринимал Гоголь западную культуру. Необходимо с достаточной резкостью подчеркнуть именно религиозный смысл его критики современности — если ему виделась «могила», если ему было «пусто и страшно», то в его суровых словах нет и тени того исторического натурализма, который так часто встречался в его время и дальше. Гоголь не чувствовал естественного одряхления Запада, он чувствовал лишь религиозную его неправду, его болезнь, чувствовал трагическую безысходность в западной жизни — но не вследствие иссякания творческих сил, а вследствие застарелых грехов и религиозного одичания. Гоголь, если угодно, зовет Европу к покаянию, но не читает ей отходную — и в этом отношении он был и остался «западником», ибо не отделял себя от Запада и не отрекался от него, а скорбел и ужасался.

Вместе с тем Гоголь, как славянофилы, как впоследствии и Герцен и другие, верил в особое призвание России. «Зачем пророчествует одна только Россия? — спрашивает в одном месте Гоголь. — Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного

царствия». Эсхатологические переживания едва ли не впервые зазвучали в русской литературе у Гоголя, также и ощущение приближения антихриста («Дьявол выступил уже без маски в мир»). Это чувство конца часто заменялось полухилиастическим ожиданием новой религиозной культуры — и здесь Гоголь отводил исключительное место России («великое поприще, которое никому из других народов невозможно, возможно одному только русскому народу» — читаем в одном месте). В картине будущего, нарисованной лишь случайными и беглыми штрихами, на Россию возлагались Гоголем особые упования. «Праздник Светлого Воскресения, — писал он, — воспряднуется, как следует, прежде у нас, нежели у других народов». Но к этим надеждам на Россию не присоединялось у Гоголя никакой гордыни. «Никого мы не лучше, — читаем тут же, — а жизнь наша еще неустроеннее и беспорядочнее, чем у всех других».

* * *

Гоголь остался непревзойденным в религиозном восприятии Запада. Славянофилы, Достоевский, наши современники глубже, ярче, сильнее критикуют Запад с религиозной точки зрения, но ни в ком не было такого глубокого непосредственного ощущения религиозной неправды современности. Конечно, то, что было в душе Гоголя и о чем мы можем только догадываться, было глубже, полнее, замечательнее того, что он писал, но и в письмах и в статьях последнего периода Гоголь зовет читателя с исключительной силой к религиозному восприятию современности. Уже не философские концепции, а живое, непосредственное чувство ложится в основу критики культуры, критики Запада — и то, что даже у Одоевского (беря его в «Русских ночах») было все-таки больше умным построением, у Гоголя впервые выступает как непосредственное восприятие жизни. Оттого Гоголь во многом религиознее глядит на современность, чем даже славянофилы — при всей глубине их богословских идей; один разве И. В. Киреевский приближается к Гоголю в непосредственности его восприятия современности. Гоголь первый начал тему, развитие которой продолжается в русской мысли, в русской душе до наших дней, — и эта тема больше обращена к идее создания православной культуры, чем к критике Запада. В глубине положительного пафоса лежит причина устойчивости и плодотворности религиозной оценки современности. В этом отношении Гоголь остается донныне вождем и пророком для нас всех.